

И в Петербурге Осип Манделштам видел эти красные цветы на чайниках:

И самоваров розы алые

Горят в трактирах и домах...

И Анна Ахматова вспоминала 1913 год в «Поэме без героя»:

В гривах, сбруях, в мучных обозах,

В размалёванных чайных розах...

Сюда, на Мясницкую, к ним приходил проститься перед отъездом за границу Скрябин — все звали его Лучезарным. Он пил чай, играл на фортепьяно, долго прощался. А когда ушёл, так захотелось увидеть его ещё раз! Борис выскочил из дома без шубы, с непокрытой головой и, прихрамывая, бежал по ночной Мясницкой: «Я хочу видеть этого человека!» Из всех вьюжных февралей происходили эти строки, из слов апостола Петра: «Я должен ещё раз увидеть его, иначе я не могу жить».

У Бориса не было мамино абсолютного слуха, не мог он любую мелодию воспроизвести в любой тональности. Не было у него и отцовского дара — «хищного глазомера простого столяра»: тот сощурится, бывало, поставит штрих — резкий, снайперский, отойдёт, ещё удар кисти, ещё — и кажется, что мир изменился, лучше стал оттого, что появилось на листе ватмана: человек сидит за столом, читает книгу, и от этого что-то происходит с людьми, с деревьями, с облаками. Так, античный художник Аппеллес мог провести одну черту, и по ней его узнавали — да, это аппеллесова черта.

Борис рвался к самой сути музыки. Решил: пусть будет так, как скажет Лучезарный, когда вернётся.

Оружейный переулочек — прародина. Потом потрясение для растения пастернак, «свойство которого расти в земле и обрастать землёю», — переезд на Волхонку. Борис прощался со своим домом на Мясницкой, с памятью о расположении солнечных пятен на полу, стенах, книжных полках.

Теперь путешествия по Москве начинались с Пречистенки. Именно здесь, над бульваром, находилась комета 1812 года, когда её увидел Пьер Безухов при въезде на Арбатскую площадь. Он распахнул медвежью шубу. «Над грязными, полутёмными улицами, над чёрными крышами стояло тёмное звёздное

небо». И он смотрел на эту светлую звезду с длинным лучистым хвостом радостно, с мокрыми от слёз глазами.

В романе «Доктор Живаго» есть особая примета первого дома Лары в городе Юрятине, он же Пермь: «Звёздное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом чёрную землю с комками замёрзшей грязи».

Лучезарный вернулся только через пять лет. На четвёртом номере конки, ходившей по Арбату, Борис отправился к нему сыграть свои композиции. Венецианские фонари в прихожей, большой абажур над столом. Только Лучезарный мог сочинить «Поэму огня» со световой клавиатурой, какими-то звуковыми вихрями, потом задумать «Мистерию», которая должна изменить мир языком звука, жеста, цвета; начать её колоколами, звучащими с неба в индийском храме с прозрачной текучей архитектурой, колоннами из благовоний; надо исполнять её семь дней, пригласить Коонен и Качалова, передать все краски заката, ввести шёпот хора; страдать от невозможности этого действия; не отказаться от невозможного, а начать «Предварительное действие!».

Скрябин повторил понравившийся кусок Борисовой композиции, и тот понял: и у Лучезарного нет абсолютно слуха, нет совершенства! Загадал: «Если на признание он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня», тогда хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она мне. Если же речь в ответ зайдёт о Вагнере и Чайковском...»

— А Вагнер? А Чайковский? — сказал Скрябин.

Другие гулы слышались Борису Пастернаку. Музыку он впустил в стихи.

Через много лет в пастернаковской «Музыке» появятся и Вагнер, и Чайковский, и ещё Шопен, а имя Скрябина, заметил один пронизательный читатель, будет спрятано в строчках:

До слёз ЧайковСкий потРЯсал

СудьБой Паоло И ФраНчески...

Почти всё сочинённое Пастернак уничтожил. Скрябин не смог сказать: «Да, и я способен фальшивить».

Отец не мог понять Бориса. Как же так, бросить рисование, потом бросить философию, музыку, про ботанику и говорить нечего. Но в глубине души он пони-

мал, что все эти занятия ничего не стоят, если нет Преображения — одного удара кисти, одного мазка, аппеллесовой черты.

По кругу читали стихи в литературном обществе «Сердарда», Борис подыгрывал на пианино. Иногда читал свои стихи — ни на что не похожие, дикие, непонятные; не читал, а гудел. Больше всего ему хотелось быть понятным всем, но это невозможно — ведь ты пытаешься достигнуть глубины, а потом выныриваешь и видишь: весь мир преобразился, «не тот этот город!».

Хмель, юношеский хмель в голове! Борис влюблён и в Иду Высоцкую, и в Лену Виноград, и ещё в Ольгу Фрейденберг — петербургскую кузину, а значит, и в Петербург. В Москве влюбился в клочок петербургской газеты! Любовь окрашивала в переписке с сестрой даже названия станций — Вруда, Тикопись, Пудость... Слова преображались: «Я написал правду на тикопишущей машинке». «Ты написал открытку в припадке тикописи». «Фразы человека, поражённого пудостью, и вообще вся эта пудость». Она понимала его, эта петербургская девочка, корни географических названий уходят в землю. Так это называлось — «ты и я вдвоём», когда можно говорить друг с другом обо всём, как в детстве у бабушки в Одессе, когда они были маленькими. «Сестра моя жизнь».

Однажды он бросился к столу — писать письмо Ольге: «Достать чернил и плакать...» Потом он так переделал этот «Февраль», что от последней строфы осталось только одно слово, и это слово было «навзрыд».

На Урале Борис впервые после падения снова ездил верхом. Он снова держал коня под уздцы, снова удивлялся своему сходству с ним. Конь упрямылся, не шёл в чашу — цвела черёмуха и конь боялся, что её дух перебьёт опасный медвежий запах. Об этом рассказывал мне пермский журналист Володя Михайлюк. Борис далеко ездил, даже в Кизел добрался, где шахты. На нём грубый свитер, высокие ботинки.